

Сергей Аксаков

Встреча с мартинистами



Сергей Тимофеевич Аксаков

Встреча с мартинистами (Воспоминания #2)

«В 1808 году на Мойке, набережная которой тогда отделялась, или, скорее, переделывалась и украшалась новой узорной чугунной решеткой, неподалеку от запасных хлебных магазинов и конногвардейских казарм, находился каменный дом старинной петербургской архитектуры. Дом этот принадлежал некогда, как я после узнал, Ломоносову и потом как-то приобретен был казною. В настоящее время в нем помещался с своим семейством начальник хлебных запасных магазинов, действительный статский советник и кавалер Владимира 3-й степени, Василий Васильич... назовем его: Рубановский...»

Сергей Тимофеевич Аксаков
Встреча с мартинистами
(Воспоминания из петербургской жизни)

В 1808 году на Мойке, набережная которой тогда отделялась, или, скорее, переделывалась и украшалась новой узорной чугунной решеткой, неподалеку от запасных хлебных магазинов и конногвардейских казарм, находился каменный дом старинной петербургской архитектуры. Дом этот принадлежал некогда, как я после узнал, Ломоносову и потом как-то приобретен был казною. В настоящее время в нем помещался с своим семейством начальник хлебных запасных магазинов, действительный статский советник и кавалер Владимира 3-й степени, Василий Васильич... назовем его: Рубановский[1]. Это была его казенная квартира с отоплением и освещением, которая давала ему возможность, при небольшом жалованье, кое-как существовать в Петербурге. Конечно, место Рубановского было не безвыгодное, потому что хлеб отпускался *недостаточным* людям по такой цене, которая была вдвое и даже втрое ниже рыночной; и хотя для получения хлеба по дешевой цене надобно было представить свидетельство от полиции в *недостаточности* состояния, но кому не известно, что при

добром расположении главного начальника хлебной конторы легко можно было приобрести и доброе расположение частного пристава. При таком мирном согласии властей добрые люди, получавшие дешевый хлеб, конечно, не остались бы неблагодарными. Но статской Енерал (как его звал народ), или Генерал-Куль (как называло его одно высшее лицо), старик Рубановский, фанатик бескорыстия, сам почти нищий, был честности неподкупной, убеждений непреоборимых, и у него нельзя было спекулировать во имя недостаточности состояния. Рубановский, человек религиозный до мистицизма, злой мартинист, как его звали в обществе, во всю свою жизнь, с суровой строгостью и с тягостною для всех точностью, свято исполнял долг суда и правды на поприще своей разнообразной и долговременной служебной деятельности. Добившись до порядочного чина, он служил и у *города Архангельска* председателем казенной палаты, а впоследствии и в Оренбургском крае, тоже председателем какой-то палаты. В Уфе, как и везде, был он одним и тем же чиновником непреклонной, неумолимой чест-

ности. Именно в Уфе он познакомился с моим отцом и матерью, и это был единственный дом или семейство, с которым Рубановский постоянно находился в дружеских отношениях. Он был нелюбим в обществе, ненавидим своими подчиненными; да, признаться, мудрено было его и любить, но не уважать его было невозможно: будучи всегда чист в своих действиях, независим по своему бескорыстию и умеренности, он не стеснялся в своих речах законами лицемерного приличия, не держал на привязи своего языка, и, когда считал это справедливым, не щадил никого. Его боялись как огня и никогда не заводили с ним ни ссор, ни споров; от него молча отходили прочь, но зато неумоимо действовали против него тайно, как против беспокойного чиновника и злонравного человека. Вследствие таких происков Рубановский никогда не засиживался долго на одном месте; через каждые два, три года его *переводили*, и вот, наконец, перевели из Уфы в Петербург, где уже он оставался довольно долго на службе, до выслуги пенсии, и то благодаря покровительству мартинистов.

Когда в 1808 году привезли меня в Петербург, для определения на службу, то на другой или на третий день нашего приезда меня послали с визитами: к бывшему наставнику моему, Г. И. Карташевскому, к крестному моему отцу, Д. Б. Мертваго, и к Рубановским. Последних я вовсе не знал, или, лучше оказать, не помнил, потому что был слишком мал, когда они уехали из Уфы, но я наслышался об них как об самых добродетельных и честных людях. Семейство Рубановских произвело, однако, на меня неприятное впечатление. Старик был огромного роста, сухощав, но атлетического, мускулезного сложения; глаза его выражали суровую строгость; лицо он имел необыкновенно длинное и бледное, с выдавшимся вперед подбородком; передние зубы, точно клыки, высывались, когда он говорил, особенно когда смеялся; но и в смехе его не было ничего веселого и добродушного. Он просто показался мне страшен. Жена его, Анна Ивановна, была совершенная ему противоположность: маленькая ростом и худенькая, как скелет; лицо же ее светилося какою-то восковою прозрачностью. У старика я заме-

тил довольно большую косу, обвитую черною лентою. Я помнил, что во время моего детства носили косы, помнил, что у моего отца коса была с лишком в аршин длиною, и помнил, как он приказал ее отрезать, уступив духу времени и просьбам моей матери; но с тех пор я ничего подобного не встречал, – и коса Рубановского, которая беспрестанно шевелилась и двигалась, сообразно движению его головы, привлекала мое внимание, и я не мог отвести от нее глаз; старик это заметил и сурово посмотрел на меня. Анна Ивановна была одета, как мне показалось, в какое-то фантастическое платье. Особенно поразил меня убор ее головы: это был высокий, как тулья мужской шляпы, чепчик, посредине обвязанный шелковым платочком или широкой лентой, из-под которого висели кружевные крылушки. Узнав от меня, что я сын родителей, с которыми они некогда жили в дружбе, что я тот самый хворенький Сережа, которого они оставили двухлетним умирающим дитятей, хозяйева приняли меня, по-своему, с радушием и ласкою. Мое превращение из ребенка в студента со шпагой и треугольной шляпой пока-

залось им поразительным явлением, которому они долго и наивно удивлялись.

Когда я воротился домой и рассказал, какое впечатление произвели на меня Рубановские, рассказал, что я не мог у них долее оставаться, потому что в час они садились обедать, мне объяснили подробно, что за почтенные оригиналы были эти люди. Мать смеялась и сама удивлялась, что не предупредила меня об этом; но она думала, что пятнадцатилетнее пребывание в Петербурге на таком важном, по ее мнению, месте заставило Рубановских, несмотря на природное упрямство, бросить свой странный костюм и свои архангелогородские обычаи. «Честь и слава характеру Анны Ивановны, – воскликнула мать. – Для женщины это великий подвиг». Тут рассказала мне она, что Анна Ивановна – архангельская уроженка, что в Уфе, да и везде она одевалась точно так, как одеваются женщины, живущие у города Архангельска, что она всегда заявляла намерение не изменять ни в чем своего костюма и никогда не обедать позже часа. Все это казалось в Петербурге невозможным, а теперь оказалось в точности ис-

полненным. Тут я также узнал, что Рубановские испытали ужасную потерю: менее года, как они лишились старшей дочери, необыкновенной красавицы и умницы, которая была идолом своего семейства, как выражалась одна наша общая знакомая; она же рассказала нам, что родители перенесли эту потерю с необыкновенной твердостью, особенно отец, который, не выронив ни одной слезинки, с каким-то торжественным весельем хоронил свою любимицу, тогда как все присутствующие надрывались от слез.

На другой день поутру отец мой ездил к Рубановским, мать же по нездоровью оставалась дома. Старик Рубановский, особенно любивший мою мать и нетерпеливо желавший ее увидеть, в тот же вечер приехал к нам. После всего слышанного мною я смотрел уже на него с почтительным любопытством и вниманием, несмотря на неприятное впечатление первой встречи. Разговор немедленно обратился на понесенную стариками ужасную потерю. Мать с искренним и горячим участием просила рассказать ей все подробности этого несчастного события. Старик Рубанов-

ский как-то дико рассмеялся и сказал: «Я знал, сударыня, что вы по дружбе к нам захотите узнать все обстоятельства, сопровождавшие эту великую эпоху в нашей жизни; она во многом вразумила, во многом переменяла нас. С первого дня болезни Александры Васильевны (так звали его умершую дочь и так всегда называл ее отец) я уже почувствовал волю Божию, понял, для чего нужно нам это испытание, – и покорился. Но в назидание другим, могущим впасть в подобное нашему, родительское, греховное ослепление, я стал записывать каждый день историю болезни моей дочери и ее христианскую кончину. Я привез прочесть вам эту записку: угодно выслушать?» Разумеется, мой отец и мать усердно об этом просили. Когда же хотели меня выслать, я попросил позволение также послушать, и старик Рубановский изъявил желание, чтобы я остался.

Ни один роман, ни одно стихотворение Державина, ни одна трагедия не производили на меня такого впечатления, какое произвело чтение этой записки. Я не думаю, чтобы она была написана хорошо в литературном отно-

шении, но тут было не до красоты слога! Тут была правда, действительность, страстная родительская любовь, осужденная и пораженная гневом Божиим, как выразался сам несчастный отец. Я не смею думать, чтобы я мог передать чувства, произведенные во мне этой запиской, чтение которой продолжалось часа полтора. Я даже думаю, что если б я мог привести ее в подлиннике, то читатели не получили бы понятия о моем впечатлении: тут недоставало бы отца, читающего, самим им составленное, описание болезни и смерти обожаемой дочери. Сначала в записке старик исповедуется, что считал, вместе с женою, дочь свою совершенством человеческой природы, чудом, ниспосланным на землю для обращения заблудших грешников на путь истинный. По словам его, это было собранье всех добродетелей, всех талантов внешних и внутренних. Между прочим, она писала превосходные стихи духовного содержания, сама клала их на музыку и пела с неподражаемым совершенством. Пение этих стихов осталось навсегда лучшим украшением высоких бесед людей, избранных на прославление имени

божия и проповедание христианской любви. Умнейшие и просвещеннейшие люди, как, например, А. Ф. Лабзин и какой-то архимандрит Иоанн, находили великое удовольствие и даже душевную пользу беседовать с этой девицей о самых высоких духовных предметах; но в то же время в ней не было никакого отшельничества: она являлась в свет, ездила на балы и в скромном своем наряде, одной любовью и красотой привлекала к себе толпу молодых людей, которые принимали каждое ее приветливое слово с радостью и благоговением. В самом начале болезни, не имевшей ничего в себе значительного, больная уже предчувствовала свою кончину, заранее приготовилась к ней и старалась приготовить свое семейство. Всякая медицинская помощь оказалась бесполезною. Больная слабела день ото дня, стала впадать в беспамятство, в продолжение которого она или беседовала с незримыми для других посетителями, или пела божественные песни. Всегда чудный ее голос получил в это время необыкновенную силу, и торжественные его звуки разносились по целой улице, так что толпы на-

рода собирались перед растворенными окнами их дома: окна были раскрыты от нестерпимого летнего зноя. Народ, зная, что поет умирающая, плакал от умиления и молился, а множество благодетельствованных ею нищих стояли день и ночь на коленях, воссылая горячие мольбы к богу о восстановлении здоровья болящей. Вся набережная была до такой степени полна народа, что полиция должна была разгонять его для проезда экипажей. Болезнь долго тянулась; отец подробно описал последние минуты своей дочери, ее прощанье с семейством и со всеми окружающими, ее кроткие желания и просьбы, ее мудрые наставления и радостное стремление к лучшей жизни. Отец сам одевал умершую свою дочь в приготовленное ею заранее платье, сам клал ее в гроб, выносил в церковь и отнес на кладбище; ни малейшего ропота не произнес его язык, и вся душа была исполнена благоговейной радости и покорности воле божией. – Мой отец, мать и я обливались слезами, слушая эту повесть, а старик Рубановский улыбался и говорил; «Вы можете плакать, а я должен радоваться и благодарить бо-

га!»

Когда Рубановский уехал, мы долго сидели втроем и говорили о чудной кончине его дочери, необыкновенной твердости отца и преданности воле божией. Когда прошла живость первого впечатления и успокоились мои раздраженные нервы, я осмелился сказать, что мне не по душе такая нечеловеческая, ветхозаветная твердость, что можно покоряться воле божией без фанатизма, платя в то же время полную дань своей человеческой природе. Я прибавил, что Рубановский беспрестанно представлялся мне Авраамом, готовым закласть Исаака по гласу Иеговы, и что я, слушая его, часто чувствовал невольный ужас. Со мной никто не спорил, и только мать сказала: «Мы не можем судить об этом деле, потому что мы плохие христиане!»

Когда семейство мое уехало и я остался служить в Петербурге, я продолжал посещать Рубановских и, согласно их требованию, обедал у них каждое воскресенье. Я познакомился с остальным семейством, которое состояло из двух сыновей и двух дочерей. Старший сын служил в лейб-гренадерском полку и был

во всех отношениях совершенная противуположность своему суровому, но высоконравственному отцу; он был убит в 1812 году.

За первым же обедом я насмешил своих хозяев: узнав вовсе неожиданно, что они живут в доме Ломоносова, я вскрикнул от радостного изумления и едва не выскочил из-за стола. С юношеским увлечением принялся я ораторствовать, что жить в доме Ломоносова, этого великого русского гения, — истинное счастье; что дом его надобно бы сохранить как памятник, во всей его неприкосновенности; что всякий русский должен проходить мимо него с непокрытой головой (что я впоследствии всегда и делал). Все смеялись, говорили, что дом прескверный, и еще более подстрекнули мою восторженность, сказав, что некоторая мебель, принадлежавшая некогда Ломоносову, сохранилась и теперь, что в кабинете стоит письменный стол, забрызганный чернилами с пера Ломоносова... Этого было довольно. Я едва мог дождаться конца обеда, попросил позволение пойти в кабинет хозяина и принялся целовать чернильные пятна на довольно неуклюжем полукруглом

дубовом столе. Хозяева последовали за мной, и общий смех усилился. Старик Рубановский, желая охладить мою горячность, сказал мне с насмешкою, что когда он занял этот дом, то ему точно сказали, что письменный стол принадлежал Ломоносову, что это, может быть, и правда, но что чернильные пятна, вероятно, новейшего происхождения; что после Ломоносова хозяев перебывало здесь много и что всякий, без сомнения, и мыл и скоблил, а потом пачкал этот стол. «Да и за что такое поклонение господину Ломоносову? Конечно, есть и у него достойные похвалы стихи, как, например: „Размышление о божием величии“ и „Ода к Иову“; но поэма господина Хераскова „Владимир“ содержит в себе несравненно более христианских истин, полезных и душеспасительных для человека». Оскорбленный за Ломоносова до глубины души, я имел неосторожность очень резко высказать свое мнение о Хераскове, где досталось и христианским истинам, так пошло и безжизненно вставленным в поэме Хераскова. Лицо моего хозяина исказилось от гнева; он злобно и с презрением посмотрел на меня и сказал: «Те-

перь я вижу, какие мысли и правила внушены вам вашими воспитателями». С этих пор старик невзлюбил меня и я никогда не пользовался его полным расположением, хотя впоследствии я был всегда осторожен и старался не говорить ему ничего неприятного.

В воскресенье у Рубановских садились обыкновенно за стол не в час, а в два часа, потому что, кроме меня, почти всегда бывало у них человека три из людей, коротко им знакомых; всего чаще бывали: Александр Григорьевич Черевин[2] и Александр Петрович Мартынов[3], мой земляк. Я замечал иногда, что между ними и хозяином была какая-то особенная связь и что они часто из недоговоренных фраз хорошо понимали друг друга, но я не обращал на это большого внимания. Анна Ивановна приняла меня в свою особенную благосклонность, и один раз, когда я сидел, после обеда, в кабинете у старика, именно с Черевиным и Мартыновым, и, признаться, скучал, особенно потому, что не ясно понимал, о чем они говорили, хозяйка позвала меня в гостиную, где она обыкновенно сидела со старшей дочерью (меньшая была больная).

Анна Ивановна взяла тонкий и со стрелками чулок, а дочь всегда делала восковые цветы. «Посидите со мной, – сказала Анна Ивановна, – поговоримте о вашем семействе, об Уфе, – и, махнув рукой, прибавила: – Пусть они на просторе толкуют о своем деле». Я заметил это выражение, но в чем состояло дело, не понимал, спросить же мне показалось неприличным. Вскоре, однако, все для меня объяснилось. Павел Петрович Мартынов[4], родной брат Мартынова, часто бывавшего у Рубановских, служивший в Измайловском полку, при первом свидании открыл мне глаза: старик Рубановский и двое гостей, о которых я сейчас говорил, были масоны, или мартинисты, а А. Ф. Лабзин, о котором я часто слышал, был великий брат и начальник этой секты. Мартынов с смехом рассказал мне об их собраниях, о пении непонятных стихов и о разных церемониях и испытаниях, с которыми принимают они новых членов. Сказал, что они и его хотели завербовать, но что ему, как человеку военному и неученому, некогда было заниматься пустяками.

Поговорив таким образом и посмеявшись

над чудаками, мы отправились к родному дяде Мартынова и моему крестному отцу, Д. Б. Мертваго. Мартынов немедленно рассказал ему, что просветил мое недоумение на счет Рубановских и прочей их братии, и прибавил, что он боится, «как бы они не завербовали земляка», то есть меня. Мертваго рассмеялся и сказал: «Чего доброго! Не поддавайся, брат. Все это пустяки! Рубановские – это честные пуритане; но нельзя этого сказать обо всех: есть такие, которые в мутной воде рыбу ловят. Они приберут тебя к рукам; будут ездить на тебе верхом». Я поспешил уверить своего крестного отца, что питаю непреодолимое отвращение ко всем тайным обществам, ко всему мистическому, темному и непонятному. Мертваго сказал, что он очень этому рад, – и мы расстались.

С этих пор я уже совсем другими глазами стал смотреть на старика Рубановского и на его посетителей, которые почти все принадлежали к масонскому братству, внимательнее стал прислушиваться к их разговорам и стал многое понимать, казавшееся мне прежде непонятным. Книги с мистическим

направлением были мне давно известны, я знал даже и «Сионский вестник», издаваемый Лабзиным, который всегда подписывался двумя буквами У. М.[5], то есть «Ученик Масонства», или Феопемпт Мисаилов.[6]

Но я всегда был до них большой неохотник. Я любил все ясное, прозрачное, легко и свободно понимаемое; труд и сухость отвлеченной мысли были мне скучны и тяжелы, и я, по молодости и легкомыслию, все не понимаемое мною называл не имеющим смысла. Мне, однако, пришлось вновь заглянуть в эти темные книги: однажды старик Рубановский, разговаривая о них с другими гостями, вдруг обратился ко мне с вопросом: читал ли я «Путешествие Младшего Костиса от востока к полудню»[7]? (Именно об этой книге шел разговор.) Я отвечал, что читал, но что она показалась мне темною. Обыкновенная в таких случаях саркастическая улыбка искривила рот старика, и он значительно посоветовал мне вновь прочесть темную книгу, а если для меня что-нибудь покажется непонятным, то он берется растолковать мне. Желая похвастаться, что мне не чуждо, а знакомо направление

мистических сочинений, я сказал Рубановскому, что еще в первый год моего студентства я подписался на книгу «Приключения по смерти Юнга-Штиллинга»[8], в трех частях, и что даже имя мое напечатано в числе подписавшихся. Рубановский очень удивился и как будто не совсем поверил мне. Я это почувствовал и попросил позволение принести книгу из его кабинета: я заметил ее лежащую на полке, устроенной во всю стену, где помещалась библиотека хозяина. Он поспешил сказать, что верит мне без справок, но что книгу я могу взять, если хочу. Я принес книгу «Приключения по смерти» и захватил «Путешествие Младшего Костиса». Я показал свое имя в числе весьма немногих подписчиков и, развернув «Младшего Костиса», остановился на первом попавшемся мне месте, и просил объяснения следующих строк: «Цель есть блаженство целого. Самодеятельность, или воля человеческая, должна состоять под непременными законами чистейшего ума. Сей же чистейший ум есть творец всех вещей. Натура есть *его уложение*, книга законов, в которой он идеи свои изобразил буквами, кои разум

человеческий разуметь и знать должен». Хотя надобно признаться, что в этих словах можно добратся до некоторого смысла, но я притворился, что вовсе их не понимаю, и Рубановский принялся объяснять мне таинственное значение «идей, изображенных буквами, кои разум человеческий разуметь должен». Старик совершенно запутался; Черевин с Мартыновым поспешили к нему на помощь; но как им нельзя было резко противоречить хозяину, то из этого вышла еще большая путаница, и мне нетрудно было, указав на противоречие в их объяснениях, сбить моих противников с поля. Я опять развернул «Костиса» и на странице 129 прочел следующее: «Любовь, истина и премудрость составляют корону царя. Закон, средство и цель – скипетр его. Одежда жрецов – добродетель, жертвенник – воля, жертва – победа над страстями, курения – деяния наши». Видя, что здесь победа будет для меня легче, Черевин и Мартынов предупредили старика Рубановского и пустились в объяснения еще более темные и непонятные, чем самый текст, который следовало объяснить. Я сейчас остановил и сконфузил их, сказав им,

что во всех спорах первым условием должно быть ясное понимание языка, которым говорят говорящие, что их язык для меня китайский, и в доказательство повторил некоторые их выражения. Они сами чувствовали правду моих слов, и мне казалось, что Черевин сам был готов расхохотаться над собою. Пользуясь их замешательством, я предложил мое собственное объяснение, которое тут же пришло мне в голову и которое хотя имело только наружный смысл, но, право, было не хуже их объяснений, и, сверх того, было очень забавно. Я крепко озадачил и хозяина и гостей, что было мне очень приятно. Не умея настоящим образом опровергнуть меня, старый мартинист осердился и с досадою сказал, что если таким образом читать эти книги и позволять себе такие лжетолкования, то лучше их не читать. Я поспешил успокоить его, что не считаю моего объяснения удовлетворительным, что я сказал так, только то, что пришло мне в голову и что может прийти в голову другим. Я обещал внимательно прочесть эти обе книги и попросить у Рубановского объяснения на все, чего не пойму; на это Руба-

новский с радостью согласился. Я сейчас почувствовал, что увлекся и зашел слишком далеко, зашел именно туда, куда не хотел идти. Скука читать эти противные мне книги, скука добираться в них до какого-нибудь смысла и еще большая скука – не совсем искренно толковать об этом с Рубановским представилась живо моему воображению, и я дорого бы заплатил за то, чтоб воротить слова, сорвавшиеся с моего болтливового языка, но уже было поздно. Это не только огорчило, даже опечалило меня, и я поспешил проститься с хозяевами ранее обыкновенного, взяв, однако, с собой обе книги, то есть «Путешествие Младшего Костиса» и «Приключения по смерти», на которые я смотрел теперь даже с какою-то ненавистью. Вся сцена происходила в гостиной, в присутствии Анны Ивановны, которая посматривала на меня с улыбкой. Когда я, прощаясь, целовал ее руку, она шепнула мне на ухо: «Ну что, попались?» И мне стало еще досаднее на себя; старик же Рубановский и его гости, переглянувшись значительно между собой, простились со мной с большим вниманием против прежнего. Хозяин – с особен-

ным благоволением, а гости – с особенной лаской и дружбой.

Какой я дурак, думал я, идя поспешно домой! Какой черт дернул меня зайти в этот безысходный лабиринт, всегда мне противный. Глупое самолюбие! Хотелось похвастаться, что мне знакомы мистические книги! Вот теперь и возись с ними. А что всего хуже: я поселил надежду в Рубаковском с его братией – затащить и меня в их общество. Такие мысли роились у меня в голове и умножали мою досаду на самого себя, но, увы, позднее раскаяние ничему не помогало. Воротясь домой, я нашел записку, которая мгновенно выгнала у меня из головы всех мартинистов, со всем их мистицизмом. Записка была от университетского моего товарища, который некогда имел на всех нас сильное влияние смелостью своего духа и крепостью воли, о котором я не один раз говорил в моих «Воспоминаниях».

«Любезный друг Аксаков, – писал он, – вчера привез меня раненого из Финляндии, в своей карете, также раненный вместе со мною, благодетельный гене-

рал Сабанеев[9], при полку которого я состою с моими орудиями.[10] Алехин мне сказал, что ты здесь; покуда я остановился у Алехина. Твой Петр Балясников».

Алехин был нашим товарищем в гимназии, но он не был студентом по весьма печальному обстоятельству, признанному за какой-то бунт против начальства, по милости глупого директора. Алехин находился в числе пятерых лучших воспитанников, исключенных из гимназии.[11]

Это был человек с живым, острым умом, веселым характером и с самыми разнообразными и блистательными дарованиями: он был талантливый стихотворец и прозаик, математик и рисовальщик. Выключенный или выгнанный из гимназии, он определился в военную службу солдатом и в настоящее время служил артиллерийским поручиком и состоял адъютантом при генерале Капцевиче [12], директоре канцелярии Военного министерства и любимце всемогущего тогда военного министра Аракчеева; у него-то остановился наш раненый товарищ. Само собою ра-

зумеется, что через несколько минут я уже обнимал Балясникова. Он был не опасно, но тяжело ранен: шведская пуля засела у него в ноге пониже колени, между костями, по счастью не раздробив их. Военные армейские доктора нашли невозможным вынуть пулю и отправили раненого для лечения в Петербург. С особенным чувством дружбы и уважения смотрел я на мужественное, исхудавшее и загоревшее лицо моего школьного товарища. Это было уже не слово, а дело! Это был уже не театральный герой, представлявший на нашей университетской сцене раненого офицера с подвязанной рукой, – это был в действительности храбрый воин, только что сошедший с поля битвы, страдавший от действительной раны, не дававшей ему покоя ни днем, ни ночью. Почти до утра просидели мы втроем, то есть я, Балясников и Алехин. Не было конца душевным разговорам, воспоминаниям и рассказам. Забывая боль от раны, всех более говорил и рассказывал Балясников, да ему и было что рассказывать. Он превозносил похвалами шведов и называл их благороднейшей нацией: офицеры были об-

разованны и мужественны, солдаты храбры и честны; все дрались отчаянно и каждый клочок земли уступали после упорного боя. Надобно сказать, что шведская война не возбуждала сочувствия в публике. Мы начали ее вследствие Тильзитского мира, по приказанию Наполеона, и это оскорбляло нашу народную гордость. По превосходству наших сил и по храбрости войск мы, конечно, должны были завоевать Финляндию, но и самая победа была бесславна. Кровное родство нашей царствующей императрицы, всеми искренно любимой, с королевой шведской еще более возбуждало нерасположение к этой войне. Я живо помню грустное и горькое впечатление, которое произвел на меня военный парад, устроенный около памятника Петра Великого по случаю какой-то победы. Каково было видеть это торжество и слушать благодарственное пенье «Тебе бога хвалим» нашей кроткой императрице, горячо любившей свою сестру, шведскую королеву! Я и теперь вижу ее, бледную, с покрасневшими от слез глазами, подавленную тягостью своего державного сана, стоящую у подножия исполин-

ского монумента. Понятно, что после этого рассказы Балясникова о войне и храбрости шведов возбудили мое сочувствие к этому народу и возмутили меня до глубины души. На другой день, или, лучше сказать, в тот же день, потому что уже рассветало, Балясников намеревался явиться к военному министру и настоятельно просить, чтоб немедленно вынули пулю из его ноги и дали ему возможность скорее возвратиться к действующей армии. Алехин предупреждал его, что Аракчеев человек страшный, что с ним надо поступать осторожно, но Балясников рассмеялся и сказал нам: «А вот увидите, как я поступлю с ним! Да еще и денег возьму с него! Я не хочу стеснять товарища и не давать ему спать по ночам своими стонами: я хочу жить на своей собственной, хорошей, удобной квартире! Прощайте!» Он ушел за перегородку, где ему была приготовлена постель, и мы расстались.

Воротясь домой и уснув несколько часов, я отправился в Комиссию составления законов, где служил переводчиком. Я поспешил отделаться от директора Комиссии, Розенкампа [13], и часу в первом был уже на квартире

Алехина. Он и Балясников еще не возвращались из Военного министерства. Впрочем, я не долго ожидал их. С громом подкатила карета, запряженная четверней отличных лошадей, остановилась у калитки квартиры Алехина; лакей в богатой военной ливрее отворил дверцы кареты, из которой выскочил Алехин, и, вместе с великолепным лакеем, высадил Балясникова. Поддерживая раненого под руки, они ввели его в скромную комнату, где я встретил их с вытаращенными от изумления глазами. Балясников сухо сказал: «Скажи, что я благодарю министра». Лакей поклонился, вышел – и карета ускакала. Балясников был совершенно спокоен. Сейчас лег на единственный диван, положил ногу на его боковую ручку (в этом положении боль от раны была сноснее) и сказал Алехину: «Ну, расскажи все Аксакову, а я устал». Лицо Алехина было очень весело, и прекрасные глаза его сверкали от удовольствия. «Ну, Аксаков, – начал он, – дорого бы я дал, чтоб ты был свидетелем всего, что происходило сейчас у Аракчеева! Мы приехали вместе; я оставил Балясникова в приемной, в толпе просителей, и побежал с

бумагами к министру, потому что мой генерал болен, а в таких случаях я докладываю лично Аракчееву. Не успел я доложить и половины бумаг, как входит дежурный ординарец и говорит, что раненый гвардейский русский офицер, только что приехавший из действующей армии, просит позволение явиться к его высокопревосходительству. „Скажи, братец, господину раненому офицеру, – сердито сказал Аракчеев, – что я занят делом: пусть подождет“. Я очень смутился. Начинаю вновь докладывать и слышу громкие разговоры в приемной и узнаю голос Балясникова. Через несколько минут входит опять тот же ординарец и говорит: „Извините, ваше высокопревосходительство, раненый офицер неотступно требует доложить вам, что он страдает от раны, и ждать не может, и не верит, чтоб русский военный министр заставил дожидаться русского раненого офицера“. Я обмер от страха; Аракчеев побледнел, что всегда означало у него припадок злости. „Пусть войдет“, – сказал он глухим, похожим на змеиное шипенье голосом. Двери растворились, и Балясников, на клюке, вошел медленно и спокойно. Слег-

ка поклоняясь министру, он прямо и пристально посмотрел ему в глаза. Аракчеев как будто смутился и уже не таким сердитым голосом спросил: „Что вам угодно?“ – „Прежде всего мне угодно сесть, ваше высокопревосходительство, потому что я страдаю от раны и не могу стоять, – равнодушно сказал Балясников. С этими словами он взял стул, сел и продолжал с невозмутимым спокойствием: – Потом мне нужна ваша помощь, господин министр; шведская пуля сидит у меня в ноге, ее надобно вынуть искусному доктору, чтобы я мог немедленно отправиться в армию. Наконец, мне нужен спокойный угол, мне надобно есть и пить, а у меня нет ни гроша“. Все это было сказано тихо, но твердо и как-то удивительно благородно. Ну как ты думаешь, что сделал Аракчеев? Я думал, что он съест Балясникова; но он обратился ко мне и сказал: „Вели сейчас выдать триста рублей этому офицеру, вели послать записку к Штофрегену[14] (придворный лейб-медик), чтоб он сегодня же осмотрел его рану и донес мне немедленно, в каком находится она положении. Я поручаю этого офицера твоему попечению: найми ему хоро-

шую квартиру, прислугу и позаботься об его столе; как скоро деньги выдут, доложи мне; а теперь возьми мою карету и отвези господина офицера домой“. – „Он остановился у меня, ваше высокопревосходительство, он мой товарищ, – осмелился я сказать, – я отвезу его и сию минуту ворочусь“. – „Тем лучше; но возвращаться не нужно, я велю другому доложить глупые бумаги твоего генерала“. Мы поклонились, вышли, взяли министерскую карету и прискакали сюда, как сам ты видел. Ну, брат, это было какое-то волшебство, какое-то чудо! Балясников – колдун! Великая важность, что есть люди, которые заговаривают ядовитых змей. Нет, поди-ка заговори Аракчеева! Ведь он страшнее всякого зверя». – Алехин не был студентом вместе с нами в университете и потому мало знал Балясникова, который был гораздо его моложе; но я знал Балясникова хорошо. Наша студентская жизнь воскресла передо мною. Прежде всего я принялся хвалить Аракчеева и доказывать, что совершенно дурной человек не способен к такому поступку, а потом рассказал Алехину, какую нравственную власть имел Баляс-

ников над студентами, и в доказательство привел следующее происшествие, пришедшее мне на память. Случилось однажды, что казенный студент П-в был сильно заподозрен, но не уличен в поступке весьма неблагоприятном; а как он упорно заперся, то подозрение падало на другого студента, совершенно невинного, по общему нашему убеждению. Балясникову это было досадно, и он сказал нам: «Пойдемте, господа, я при вас допрошу П-ва, он у меня признается во всем». И, сопровождаемый толпою товарищей, в числе которых был и я, он пришел в комнату виноватого, который сидел на своей кровати и занимался любимым своим делом: резьбою на кости, в чем был большой искусник. Балясников подошел к нему один, а мы стояли отдельною толпою вокруг них; Балясников принял величавое положение, сложил на груди руки и молча несколько времени смотрел на П-ва; взгляд голубых, устремленных глаз Балясникова поистине имел в себе что-то пронзительное. Я сам видел, что П-в и краснел и бледнел, хотя, не поднимая глаз, по-видимому, пристально занимался своей работой. На-

конец, Балясников грозно и повелительно сказал: «Господин П-в, извольте бросить ваше занятие, товарищи пришли судить вас». П-в оторопел, бросил свою кость и ножичек и встал с постели. «Посмотрите-ка мне в глаза, – продолжал Балясников тем же грозным голосом. – Погляжу я, как вы запретесь? Сейчас извольте признаваться: вы сделали поступок, который марают всех нас?..» И П-в едва взглянул на Балясникова, как в ту же минуту дрожащим голосом отвечал: «Я». Он сам после говорил, что дал клятву себе не признаваться, что он не понимает, какая неведомая сила заставила его признаться.

Покуда я рассказывал, Балясников, лежа на диване, с поднятой вверх ногою, с костылем под головой, за который держался он обеими руками, смеялся и удивлялся, что я так хорошо помню это происшествие. «Но ты забыл, – сказал он, когда я кончил, – что мы с общего согласия назначили наказание П-ву и что он смиренно ему покорился». Я отвечал, что очень хорошо помню. Алехин был изумлен: он также хорошо помнил непреклонное упрямство П-ва, которого знал в гимназии.

Мои рассказы вразумили Алехина, что за человек был Балясников, и он уже не так дивился его успеху при встрече с Аракчеевым.

Поболтав еще несколько времени и порадовавшись счастливому исходу, не всегда сопровождающему смелые поступки, мы, по настоятельному желанию Балясникова, в тот же день наняли ему прекрасную квартиру в Итальянской слободке: три отдельные комнаты, хорошо меблированные, в нижнем этаже деревянного дома – за двадцать пять рублей ассигнациями в месяц. Хозяйка, почтенная старушка, с удовольствием вызвалась сама ухаживать за раненым, а один из ее лакеев нанялся ему служить, и Балясников в тот же день ночевал на новой своей квартире.

На другой же день поутру Штоффреген приехал к Балясникову, внимательно осмотрел и ощупал его рану и сказал, что теперь пулю нельзя вынуть, а надобно подождать, когда она опустится и выйдет из соседства костей. Он прописал какую-то мазь или примочку, и это лекарство чудесно помогло Балясникову. Он почти перестал страдать от своей раны. Его хозяйка, потерявшая сына под Аустерли-

цем, с первого взгляда полюбила своего постояльца, как родного, и сейчас же принялась ухаживать за ним со всею нежностью и умением женской заботливости.

Прошла почти неделя, а я и не заглядывал ни в «Младшего Костиса», ни в «Приключения по смерти», даже забыл о них. Несмотря на то, по заведенному порядку, в воскресенье я отправился обедать к Рубановским. Старик сейчас спросил меня о книгах и очень наморщился, когда я отвечал, что не имел времени заглянуть в них. Все мои рассказы о раненом товарище, об его свиданье с Аракчевым, о наших душевных беседах про гимназию и университет не извиняли меня в глазах неумолимого хозяина. Он терпеть не мог Аракчева, а Балясникова все-таки называл буяном, которого следовало бы лечить на гауптвахте. «Нет, милостивый государь мой, – сказал Рубановский с злобной иронией, – если б у вас было желание, то вы бы не только сами, но и товарищам своим прочли эти книги: как военные люди, они, верно, и не слыхивали о них». Я отвечал довольно резко, что мне было не до мистических книг, но сказал,

что к будущему воскресенью прочту непременно обе книги. Старик был недоволен. Я заметил, что Анна Ивановна уже в другой раз проходит мимо кабинета и как-то значительно в него заглядывает. Я поспешил поздороваться с нею и ушел из кабинета. Надобно предварительно сказать, что хозяйка с каждым посещением моим показывала мне более и более своего благорасположения и даже доверенности. Мы уселись на обыкновенных своих местах в гостиной, и она поспешила предупредить меня, что сегодня после обеда будет у них Лабзин, что меня представят ему и что если я ему понравлюсь, то он пригласит меня к себе и на домашний спектакль, который скоро будет в доме Черевина, что она очень хорошо видит их намерение завлечь меня в общество, которого она терпеть не могла, и при этом случае откровенно и неблагоприятно выражалась обо всех его членах, называя одних сумасшедшими, а других дураками. Сквозь всю эту женскую болтовню я увидел настоящую причину ее гнева: Червин был красивый, богатый жених и достойный человек во всех отношениях, и Анна

Ивановна желала, чтоб он больше обращал вниманья на ее дочь, чем на масонские заседания и книги. Анна Ивановна даже выболтала мне, что Черевин сначала показывал большое расположение к ее Лизе, но что Лабзин, которому все они послушны, как дети, отвлекает его от этого намерения и хочет женить, и непременно женит на своей воспитаннице, Катерине Петровне, которую она ненавидела и всегда называла Катькой. Я, разумеется, очень искренно благодарил мою почтенную покровительницу за ее доверенность ко мне и предостережение. Я уверял ее, что не поддамся никаким обольщениям, чему, однако, она не очень верила. В самом деле после обеда приехал Лабзин. Старик Рубановский, у которого сейчас просветлело лицо, немедленно представил меня великому брату и начальнику как сына старинных своих друзей, как молодого человека неиспорченных нравов, подающего добрые надежды. Лабзин был среднего роста и крепкого сложения: выразительные черты лица, орлиный взгляд темных, глубоко-знаменательных глаз и голос, в котором слышна была привычка повелевать, про-

извели на меня сильное впечатление. В обращении он был совершенно прост и любил употреблять резкие, так называемые тривиальные или простонародные выражения, как, например: выцарапать глаза, заткнуть за пояс, разодрать глотку и т. п., от которых Анна Ивановна всегда морщилась и при употреблении которых всегда выразительно взглядывала на меня. Сейчас можно было заметить, что Александр Федорович Лабзин человек необыкновенно умный, властолюбивый, пылкий по природе, но умеющий владеть собою. В разговорах он ни одним словом не обнаружил своего исключительного, мистического направления, он не касался никаких духовных предметов, а очень весело, остроумно, не скупясь на эпиграммы, рассуждал о делах общественных и житейских; сейчас заговорил со мной о театре и очень искусно заставил меня высказать все мое увлечение и все мои задушевные убеждения в высоком значении истинного артиста и театрального искусства вообще. Я так бойко разговорился, как никогда не говаривал у Рубановских, и все они, а также и обыкновенные посетители их, Чер-

вин и Мартынов, смотрели на меня с некоторым изумлением. Лабзин повернул разговор на литературу, и я не замедлил с такой же горячностью высказать мои понятия и взгляды и мое русское направление в словесности и вообще в образе мыслей. Лабзин, по-видимому, был очень доволен мною, расхвалил, обласкал меня, звал к себе и пригласил на свой домашний спектакль к Черевину, а вместо билета дал мне печатную афишку. В обращении его с «братьями» слышен был тон господина, а «братья», не исключая и старика Рубановского, относились к нему почтительно, как будто к существу высшей природы. Наконец, Лабзин уехал, хозяин проводил его до лакейской и, как видно, что-то говорил с ним, потому что не вдруг воротился; когда же он вошел к нам в гостиную, лицо его светилось от удовольствия; он с необыкновенной благосклонностью обратился ко мне, часто улыбался своей странной улыбкой и старался мне внушить, что понравиться Александру Федоровичу Лабзину – большое счастье. Оба гостя сделали также ко мне необыкновенно внимательны и ласковы, и одна только Анна

Ивановна чаще нюхала табак и чаще поправляла свой накрахмаленный архангелогородский чепчик. Она была в волнении и чем-то очень недовольна. Не имея возможности остаться со мной наедине, она начала ходить из угла в угол по длинной своей гостиной. Я понял ее желание и стал ходить вместе с ней. Когда мы дошли до противуположного угла, она тихо сказала мне: «Ну что? растаяли? Ну где вам устоять! Александр Федорович такой хитрец, что проведет кого угодно. Уж если он чего захочет, то непременно поставит на своем. Я вижу, что вы еще очень молоды. Вот теперь будете с ними на театре играть, станете читать их книги, потом вступите в члены, в покорнейшие слуги Александра Федоровича, будете вместе с ними пить за ужином, а там, пожалуй, и в Катьку влюбитесь...» Все это было высказано не вдруг, а в несколько приемов, когда мы уходили в противуположный угол. И на все эти разорванные фразы, весьма гневно высказываемые, я едва успевал отвечать: «Сделайте милость, не беспокойтесь... ничего этого не будет... уверяю вас, что я никогда не буду мартинистом» – и пр. Давно

прошел час, в который я обыкновенно уходил от Рубановских. Я взял шляпу и стал прощаться. Старик дружески пожал мне руку и напомнил о книгах; Черевин и Мартынов, против обыкновения, даже обняли меня; одна Анна Ивановна гневно сунула мне в губы свою костлявую руку и не поцеловала в щеку, как она, и очень ласково, дельвала это прежде.

Воротясь домой, я прочел данную мне Лабзинным афишку; она была составлена, вероятно, им самим, с большой претензией на остроумную замысловатость. К сожалению, я помню только одну курьезность: там было сказано, что такого-то года и числа будет представлена «притворными» актерами драма в 3 действиях г-на Ильина[15]: «Лиза, или Торжество благодарности».[16]

Слово «притворными», вместо «придворными», как всегда печаталось в обыкновенных афишах публичных императорских театров, конечно, было довольно удачно, изменение одной буквы давало совершенно противоположный и приличный смысл одному и тому же слову. Мне особенно это понравилось

потому, что на благородных домашних театрах, хорошо мне знакомых, почти все действующие лица, конечно, только притворяются, будто они актеры. Этот спектакль в доме Черевина на Васильевском острове шел через несколько дней.

Мы с Алехиным каждый день бывали у Баласникова, но в продолжение этой недели я не мог посвящать ему всего свободного времени от служебных моих занятий. Я непременно должен был прочесть «Путешествие Младшего Костиса» и «Приключения по смерти», да еще две, три книжки «Сионского вестника», которыми также снабдил меня Рубановский. Чтение это было для меня невыносимо скучной работой. Я читал уже не с той целью, чтобы добираться до таинственного смысла, я читал с целью чисто полемической: я отыскивал места самые темные и запутанные и придавал им самое произвольное и даже превратное толкованье. Все это я записывал, чтобы выдержать схватку с стариком Рубановским.

Накануне спектакля притворных актеров получил я записку от П. П. Мартынова, кото-

рый, узнав от своего брата, что я приглашен Лабзиным в спектакль, выхлопотал и для себя пригласительный билет, то есть афишку. Лабзин не мог отказать в этом просьбам родного брата его, А. П. Мартынова, лучшего актера в их труппе. П. П. Мартынов предлагал мне ехать вместе в его экипаже, обещая и обратно довезти меня до дому. Я очень охотно согласился, потому что своих лошадей у меня не было.

В назначенное время П. П. Мартынов приехал за мной, и мы отправились на Васильевский остров. Во всю дорогу мы говорили о мартинистах, смеялись и заранее обещали себе много забавных сцен, особенно потому, что мы были приглашены и на ужин, а за ужином всегда происходило у них общее пение, о котором Мартынов слышал от брата. Когда мы приехали, то нашли, что многие из приглашенных посетителей уже собрались. Впрочем, и все общество было невелико, потому что большему числу посетителей поместиться было бы негде: собственный деревянный дом Черевина был очень хорош, но не так велик. В первой комнате встретил меня Руба-

новский; лицо его искажилось от гнева. Он грубо схватил меня за руку, отвел в угол и задышающимся голосом спросил: «Как, вы не были с визитом у Александра Федоровича? Вы не уважили его приглашения и осмелились приехать к нему в спектакль? Неужели вы не понимаете, какая эта невежливость и какое это оскорбление мне, который рекомендовал вас, как благовоспитанного молодого человека?» Я в самом деле был виноват без всякого оправдания; но, собравшись с духом, отвечал, что по утрам я занят на службе, после обеда же приехать было бы неучтиво, а потому я отложил свое посещение до воскресенья, то есть до послезавтра; что я все это объясню Александру Федоровичу и надеюсь, что он уважит мои причины и извинит меня. Но Рубановский не хотел слушать моих оправданий. «Все это вздор, милостивый государь, – говорил он, сдерживая голос и подавляя свою досаду. – Вы могли не ездить один день в вашу Комиссию или могли попроситься у директора и уехать пораньше. Я советую вам не показываться на глаза Александру Федоровичу и сейчас воротиться домой». Этот

совет рассердил уже меня самого; я с твердостью отвечал, что ни за что в свете не уеду, и, оставя Рубановского, пошел в гостиную. Лабзин встретил меня с распростертыми объятиями, с самым веселым и ласковым видом. Я поспешил высказать мои извинения, но хозяин (Лабзин точно был хозяин в доме Черевина) не дал мне договорить их, обнял в другой раз и сказал: «Что за вздор! не пустым визитом выражается уважение и сердечное чувство: дело состоит в их искренности, а в вашей я не сомневаюсь». В это время Рубановский стоял уже подле нас. Я обратился к нему и сказал: «Не сердитесь на меня, Василий Васильевич, и извините меня так же благодушно, как извиняет меня Александр Федорович». Лабзин взглянул на искаженное лицо Рубановского, понял все дело и выразительно сказал: «Неужели вы рассердились на молодого человека за такую безделицу? В наши с вами года это уже неприлично. Да и вины-то тут никакой нет. Я даже хвалю его за точное исполнение служебной обязанности. Помиритесь с ним». Мгновенно разгладились морщины на лбу Рубановского, искривившийся рот

пришел в свое обыкновенное положение, и он протянул мне руку, сказав: «Для Александра Федоровича я вас извиняю». Вся эта сцена была довольно странна и не могла не обратить на себя внимания общества. Я говорил тихо, а Лабзин очень громко. Очевидно было, что он нисколько не церемонился и что все его окружающие были его почитатели и покорнейшие слуги.

Александр Федорович так занимался мной, как будто я был единственный его гость, а все прочие – его семья. Он заранее хвалил своих актеров, особенно Александра Петровича Мартынова, и очень жалел, что в этот вечер я увижу его в невыгодной роли. «Он превосходен в стариках, – говорил Лабзин, – он так играл Эдипа, что едва ли не превзошел Шущерина; роль же молодого человека и любовника совсем к нему не идет. Притом же он теперь в горе; сегодня он получил письмо, что у него умер отец; брат его, Павел Петрович, ваш гвардейский приятель, не знает об этом; мы положили объявить ему завтра». Говоря это, Лабзин был не только спокоен, но и весел. Меня поразили его слова. Как? Отец умер, а сын,

получив о том известие, играет на театре? Не может быть, чтоб добрый Мартынов поступал по своей воле; итак, он исполняет приказание Лабзина; итак, он не смеет его послушаться! Боже мой, откуда же происходит эта власть, эта деспотическая духовная сила, которою обладает Лабзин? Вот мысли, промелькнувшие у меня в голове, и я стал смотреть не только с неприятным, но даже с неприязненным чувством на великого брата и начальника. Жалко мне было глядеть и на Павла Петровича Мартынова, который, ничего не зная, беспрестанно шутил, смеялся и нашептывал мне на ухо всякий вздор. Спектакль скоро начался, и Лабзин посадил меня возле себя. Пьеса шла очень недурно: видно было, что она поставлена и слажена мастером; очень хорошо играла воспитанница Лабзиных, Катерина Петровна, воспитанницу добродетельной помещицы гжи Добросердовой; Черевин же в роли старосты был удивительно хорош! Он мастерски схватил выговор и манеры крестьян Орловской губернии (видно, коротко ему известных); этот местный колорит придавал его игре много живости и естественности. Я горячо

хвалил его Лабзину, который отвечал, как-то не вполне соглашаясь со мною, что, конечно, эту роль Черевин играет очень хорошо, но это единственно потому, что он сам орловский помещик и что он удачно передразнивает провинциальный оттенок в выговоре и манерах своих крестьян. Не помню, кто играл Кремнева, отставного солдата; но и эта роль, впрочем очень выгодная и благодарная на сцене, была исполнена довольно удачно. Бедный Мартынов! Если б я и не знал об его горе, то непременно бы заметил, что у него лежит что-то тяжелое на душе. Впрочем, роль Лиодора, армейского капитана, совершенно не шла ему по своему характеру и по его физическим средствам.

Само собою разумеется, что я в разговорах с Лабзиным давно успел высказать ему и мою охоту играть на театре, и мои успехи, и мои упражнения в сценическом искусстве под руководством Шушерина. Лабзин захотел послушать мою декламацию, и я охотно согласился. После спектакля, когда актеры, переодевшись, пришли в гостиную, Александр Федорович, пригласив двух Мартыновых и Черевина,

вина, увел нас на другой конец дома, в кабинет хозяина. Предполагая, что мне будет ловчее и легче начать не первому, что, конечно, показывало тонкую разборчивость его, Александр Федорович обратился к Александру Петровичу Мартынову и сказал: «Прочти-ка нам монолог из „Эдипа“, в котором он отвергает кающегося Полиника; да прочти на славу!» – Мартынов, на печальное лицо которого жалко было смотреть, отвечал почтительно: «Извините меня, Александр Федорович, я не в состоянии теперь читать». – «Отчего это?» – сказал Лабзин, возвысив голос и наморщив брови. «Я сегодня не в духе», – робко отвечал смущенный Мартынов. «Ну что тут за духи! Прочтите!..» – и Мартынов начал читать. Разумеется, он не в состоянии был прочесть так сильно, как читывал прежде, но чувства и естественности было много в его чтении. Лабзин был, однако, недоволен и назвал Мартынова мокрой курицей. Я с негодованием выразительно посмотрел на Лабзина, и, кажется он понял мой взгляд, потому что сказал: «Мужчине стыдно поддаваться грустному чувству». Пришла моя очередь, я не заставил

себя долго просить и прочел рассказ Мейнау, или Неизвестного, из комедии Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», в котором он описывает измену и побег своей жены, а потом продекламировал с большим жаром монолог Ярба[17] из трагедии Княжнина «Дидона». Когда я кончил, Лабзин сказал: «Куда же нам с ним играть, он всех нас за пояс заткнет, это уже не *притворный* актер!» Тогда эти слова показались мне великою похвалою; но едва ли в них не было насмешки над моею слишком громкою и напыщенною декламацией, от которой я тогда еще не освободился. Остальные слушатели, как следует, осыпали меня похвалами. Я заметил, что были слушатели и позади дверей, которые разбежались при нашем выходе. Мы воротились в гостиную, и Лабзин занялся другими посетителями, освободив, наконец, меня от своего постоянного внимания. Я подошел к старику Рубановскому и старался изгладить его неудовольствие против меня, в чем, кажется, сначала и успел, но ненадолго. Между прочим, я имел неосторожность сказать, что меня удивляет странный выбор пьесы для сегодняшней-

го спектакля и что, кажется, нетрудно было бы найти другую, с содержанием более серьезным, написанную человеческим языком, в которой образованный и храбрый капитан не влюблялся бы с первого взгляда в дочь старосты, не бросался бы перед ней на колени и не объяснялся в любви языком аркадского пастушка. Старик посмотрел на меня с неприятным изумлением и выразительно сказал: «Вы очень смелы на осуждение людей, старших вас годами и умом. Уж если Александр Федорович выбрал эту драму, то, конечно, имел на то свои причины». Он с неудовольствием отвернулся от меня и ушел прочь. В числе немногих дам была жена Лабзина[18] с своей воспитанницей, которая мне очень понравилась, несмотря на дурную рекомендацию Анны Ивановны Рубановской. К удивлению моему, Лабзин не познакомил меня с своей женой и воспитанницей. Может быть, он хотел это сделать у себя дома. Когда ужин был готов, все дамы уехали. Нас позвали в залу, в которой прекрасно поставленный театр уже был снят и вместо него стоял богато убранный стол с кушаньями. Лабзин, пору-

чив угощать и занимать меня Черевину, сел на главном хозяйском месте, окруженный старшею братией. Подле него с правой стороны сидел Рубановский, очень довольный своим почетным местом, а с левой – какой-то отставной адмирал с георгиевским крестом. Я сел на другом конце стола, между Черевиным и Павлом Петровичем Мартыновым, а брат его жаловался на головную боль и хотел уйти спать, даже простился с нами, но, подошед к Лабзину и пошептавшись с ним, воротился к нам и сел подле Черевина за стол. Мы с Павлом Петровичем все это видели, и мне очень было больно слушать, как он смеялся над покорностью своего брата и шептал мне на ухо: «Ведь не осмелился уйти! Лабзин не позволил. Посмотри, будет давиться и станет есть». Но бедный Александр Петрович Мартынов печально просидел весь ужин, не дотронувшись до своего прибора. Всего возмутительнее для меня было то, что Павел Петрович не оставлял в покое своего брата и беспрестанно, разными экивоками, насмехался над ним, сколько я ни уговаривал его, чтоб он не тревожил Александра Петровича, который, оче-

видно, болен и чем-то очень огорчен. По окончании ужина прислуга вышла, двери затворила, и все присутствующие, по знаку Лабзина, довольно складно запели какой-то гимн. Не пели только Павел Петрович Мартынов и его брат. Всех смешнее казался мне старик Рубановский, так усердно разевавший рот, что его передние зубы, похожие на клыки, выставлялись на показ всему собранию.

После первого куплета наступило общее молчанье, и Лабзин, постучав рукояткой своего столового ножа по столу, громко и грозно сказал: «Александр Петрович!..» Начался второй куплет, и несчастный Александр Петрович также запел или по крайней мере разевал рот, вполголоса подтягивая общему хору. Брат его беспрестанно толкал меня ногой и смеялся, а мне было грустно, тяжело и даже страшно.

После ужина, поблагодарив Лабзина за приглашение в спектакль, а Черевина за угощение, потому что ужин и все расходы спектакля происходили на его счет, мы с Мартыновым отправились домой. Всю дорогу приставал он ко мне с своими шутками и смехом

и удивлялся, отчего я не смеюсь. Я отвечал ему, что все виденное мною не смешно, а страшно, что я вижу тут какой-то католический фанатизм, напоминающий мне тайные инквизиторские судилища средних веков. Слова мои были тарабарской грамотой для моего товарища, и он замолчал. Бедный! Как он был жалок на другой день, поутру, когда при мне брат сказал ему о смерти их отца, и как сегодня горька ему была вчерашняя веселость! Он жестоко напал на брата за его ребячью покорность приказаньям Лабзина, исполняя волю которого, он сам играл и пел и брата заставил веселиться и хохотать в то время, когда им обоим следовало бы плакать, молиться и служить панихиду по отце! Добрый и простосердечный по природе, Александр Петрович старался уверить нас, что он сам не захотел расстроить вчерашнего спектакля, а потому и скрыл от брата их несчастье; но мы оба ему не поверили. Целый день провел я вместе с Мартыновыми, которые, помолясь усердно богу и выплакав свое горе обильными, теплыми слезами, поуспокоились и покорились воле божией.

Наконец, наступило воскресенье, и я, вооружась по возможности к бою, заготовив множество замечаний, выписок и возражений против мистических книг, явился к Рубановскому гораздо ранее обыкновенного: «Ну что, прочитали?» – спросил меня, с неожиданною для меня ласковостью, строгий мартирист. «Прочел, Василий Васильевич», – и я положил на стол принесенные мною книги. «Ну что, многого не поняли?» – «Многого не понял, да думаю, что и никто понять не может, если не позволит себе произвольного толкованья. Я отметил карандашом и выписал в особую тетрадь некоторые темные места, на которые я надеюсь получить от вас истолкованье, отметил также и такие, которых растолковать никто не может. Я написал также мой взгляд на книгу „Приключение по смерти“, которую нахожу не душеспасительною, а вредною». Я сейчас увидел, что опять поступил неосторожно: я раздражил моего хозяина преждевременно, мне надо бы было кончить этим ударом, а я начал. Я пощажу моих читателей от скуки выслушать весь мой спор с Рубановским. Но для образчика расскажу толь-

ко некоторые мои вопросы, недоуменья и объяснения старого мартиниста. Я начал с «Путешествия Младшего Костиса» и, развернув книгу, прочел на странице 169-й: «Человек зрит мыслию силы, действия, следствия и произведения: в сем заключается основание всех его понятий. Почему чистейший разум есть токмо чистейший образ созерцания». – «Помилуйте, – говорил я, – человек, конечно, зрит, то есть видит и понимает мыслию, но отчего же мыслию силы, действия, следствия и произведения? Как можно зреть следствием и произведением? И может ли в этом заключаться основание всех его понятий? Чистейший разум *не потому* и *не токмо*, а всегда есть чистейший образ созерцания». Рубановский, подумав, отвечал мне: «Под словом сила надобно разуметь божественную силу, то есть самого бога, а как в божественной силе заключаются действия, следствия и произведения, то человек и может зреть их только посредством божественной силы. Неужели вам теперь непонятно, что в этом заключается основание всех человеческих понятий: и вот *почему* чистейший разум есть *токмо* чистей-

ший образ созерцания». – «Позвольте, – сказал я торжествующему Рубановскому, – мне кажется, мы не так читаем эти строки; может быть, тому причиною неясная расстановка слов. Может быть, надобно читать: человек мыслию зрит силы, действия, следствия и произведения, – тогда это будет понятно». Рубановский был озадачен; немного подумав, однако, он сказал: «Но значение мною вам объясненного несравненно выше». Забавляясь внутренне ловушкой, в которую попал Рубановский, я продолжал читать на той же странице следующее: «Когда мысль наша в гармоническом порядке представляет мысль божью в боге *силою*, а в натуре *явлением* силы, тогда мы мыслим благо, истинно, изящно – поелику добро, истина и изящность, или красота, составляют чертеж, по которому вселенная создана». Предчувствуя, какое будет толкование этих слов, я спросил, однако: «Что такое значит: представлять мысль божью в боге *силою*? Мысль божия есть в то же время и сила, это так, и что мысль божия выражается в натуре *явлением* – это понятно; но почему же, думая так, мы уже мыслим благо, ис-

тинно, изящно? Понимая и признавая одну истину, можно ошибиться во множестве других, можно мыслить *не* благо, *не* истинно и *не* изящно?» Старик Рубановский не задумался и торжественно и в то же время иронически отвечал мне: «А потому, милостивый государь, что, признав главное, то есть, что мысль божия в боге сила, а в натуре явление силы, мы уже мыслим благо, истинно, изящно». Я продолжал читать: «В сем состоят преимущества духа над духом».

«Но в том положении, в каком мир некогда находится будет, большая часть людей со-вратится:

*В мыслях заблуждениями,
В хотении страстями,
В действовании пороками.*

Заблуждения суть число, страсти – мера, пороки – вес». – «Конечно, – продолжал говорить я, – вы, Василий Васильевич, первые строки растолкуете по-своему – что темно, то можно толковать как угодно; но говоря по совести, я считаю, что вы так же, как и я, не можете понимать, что это такое за преимуще-

ство „духа над духом“. В каком смысле понимать тут слово дух? Значения его весьма различны. Значение запаха сюда не идет, значение сущности, содержания какого-нибудь предмета или эпохи – так же не идет. Смысл духа человеческого приложить сюда невозможно: остается принять иносказательное значение доброго или злого духа». Рубановский не нашелся, что отвечать. Я, разумеется, принял его молчание за уступку и, не дав ему опомниться, с большой уверенностью и жаром продолжал: «Неужели вы станете мне объяснять, что значат слова: заблуждения суть *число*, страсти – *мера*, пороки – *вес*? Здесь я просто не вижу смысла, можно, пожалуй, постараться придать хоть какой-нибудь наружный смысл; но и он будет несправедлив. Во-первых, заблуждения человеческие бесчисленны, и потому назвать их *числом*, то есть определенным количеством, невозможно. Точно так же страсти не могут назваться *мерю*; страсти – противоположность мере, они разрушают меру, они безмерны; пороки – *вес*... Тут уж я и придумать не могу никакого смысла». – «Нет, сударь, – подхватил Рубанов-

ский, – пороки, точно, вес, тяжесть, которая давит, гнетет дух человеческий, не дает ему возноситься к богу, придавливает его к земле, к земным помыслам...» Тут Рубановский долго говорил и, конечно, говорил то, чего сам не понимал.

Не пускаясь в дальнейшие бесполезные возражения, я продолжал читать: «Молоток есть образ внешнего действования. Ум должен искать, воля желать, деяния стучать. Ибо когда ум, воля и действия составят единицу, то раздаятель премудрости дарует уму свет, воле и действиям – благословение». «Отвес есть эмблема продолжения действий наших, которые тогда токмо останавливаются, когда придут в перпендикулярную линию с вечным порядком отца светов». Здесь я дал себе волю и потешался над «*стукотнею* наших деяний, которые тогда токмо восстанавливаются, когда придут в перпендикулярную линию с вечным порядком отца светов». Рубановский молчал и только злобно улыбался. Оставив «Младшего Костиса», я перешел к «Сионскому вестнику». «Премудрость божия обрела единственный способ к разрешению трудности в подня-

тии падшего (вероятно, человека). Явилась существовавшая всегда умственно между сими двумя линиями ипотенуза, произвела свой квадрат и заключила в оном полное действие и правосудия и любви божеской». «Эти строки живо напоминают, – говорил я, – подобные выражения в „Младшем Костисе“; но мне кажется, что подражание превзошло оригинал в темноте, чтоб сказать поучтивее, а попросту – в бессмыслице». Хозяин мой, уже не отвечавший на мои предыдущие возражения и насмешки, а только злобно улыбавшийся, здесь не вытерпел. Он крепко обиделся не столько словом *бессмыслица*, как словом *подражание* «Младшему Костису». Вероятно, статья была написана самим Лабзиным. Можно себе представить, как горячо старый мартирист защищал ее, с каким усилием объяснял и как путался оттого в своих объяснениях. Мне нетрудно было ловить его во многих противоречиях.

Между тем человек уже два раза докладывал, что кушанье поставлено на стол. Надобно было прекратить наши споры, и я поспешил в коротких словах высказать мое мне-

ние о книге «Приключения по смерти». «Эта книга, – сказал я, – есть самая нелепая и детская фантазия о самом великом и таинственном предмете, о жизни загробной. Придавать ей образы, взятые из нашей земной жизни, по-моему, не только дерзко, но и грешно. Это, по-моему, святотатство. Покуда дух человеческий заключен в теле, он не может представить себе будущей вечной жизни. Он может только ее предчувствовать. Это не православная книга, это католические мудрования с их чистилищами. Она может быть вредною, если читатели поверят ей и примут бред Юнга-Штиллинга за истину, за прозрение в таинство судеб божиих». Я говорил с убеждением и жаром. Рубановский не возражал, а опять слушал меня с улыбкою, выражающею и жалость и презрение. Он даже не дал мне кончить и сказал: «Пойдемте-ка лучше обедать». В самую эту минуту дверь отворилась, показался архангелогородский чепчик Анны Ивановны. «Идем, идем, сударыня», – сказал старик таким голосом, которым выразилось отчаяние о погибающем слепце. Мы отправились обедать. Как нарочно, в этот день обедал

я один у Рубановских, и разговор у нас очень не клеился. Я начинал говорить о спектакле у Черевина и хвалить игру некоторых актеров, но хозяйка явно не хотела поддержать этого разговора. По ее взглядам и ужимкам я догадывался, что она нетерпеливо желает поговорить со мной глаз, на глаз. Сейчас после обеда Василий Васильевич ушел в свой кабинет, и мы остались одни с Анной Ивановной. «Ну, рассказывайте, – сказала она торопливо и нетерпеливо, – что там у вас происходило? Василий Васильевич очень недоволен и только из угождения Лабзину не ссорится с вами». Я рассказал подробно все происходившее в доме Черевина. По выражению лица моей слушательницы можно было отгадать, что многое ей не нравилось, особенно мои похвалы воспитаннице Лабзиных, Катерине Петровне, и что, напротив, она была очень довольна, во-первых, тем, что я строго осуждал Лабзина за его деспотизм и бесчеловечную жестокость с Мартыновым, а во-вторых, тем, что «Гог и Магог», так она называла иногда Лабзина, не познакомил меня с своей женой и воспитанницей и не повторил приглашения приехать к

нему. «Вам нечего и ездить к ним», – подхватила Анна Ивановна; но я поспешил ей сказать, что сегодня рано поутру уже был у Александра Федоровича, не застал его дома и оставил визитную карточку. «Ну и прекрасно, – проговорила моя хозяйка, – он визита не отдаст, а вам в другой раз не для чего ехать». – «Если Александр Федорович не отдаст мне визита, – отвечал я, – то я и не поеду». Анна Ивановна запальчиво опровергала мои похвалы, впрочем весьма умеренные, Катерине Петровне, уверяла, что она показалась мне недурною, потому что была подбелена, подрумянена и подрисована на театре. Напрасно я уверял ее, что зрители сидели так близко от сцены, что не было возможности подрисовываться, и что я видел Катерину Петровну после спектакля в гостиной: моих доказательств не хотели и слушать. Анна Ивановна всего более желала узнать, что делал Черевин? с кем из дам говорил? Я видел, к чему клонились эти вопросы, но не хотел отвечать на них. Наконец, моя хозяйка не вытерпела и прямо спросила: «Подходил ли к Катьке Черевин и говорил ли с ней?» Я отвечал, что не заметил.

«Но заметили ли вы по крайней мере, – спросила Анна Ивановна еще с большею горячностью, – что жена Лабзина казачка? Что вы так смотрите на меня? Да, она из казачек!» – «И этого не заметил», – отвечал я. «Ну, так, верно, вы так были заняты красотой Катьки, что ничего не заметили», – сердито проговорила моя собеседница. Я, признаться, сначала немножко поддразнивал ее, но потом постарался успокоить, что было и нетрудно. Прощаясь, она вдруг спросила меня с особенным выражением: «Хотите ли вы на деле доказать мне свою дружбу?» Я отвечал, что очень хочу. «Дайте же мне честное слово, что исполните мою просьбу!» Я немного смутился. Анне Ивановне могло прийти в голову такое желание, какого я не мог исполнить по моим убеждениям. Подумавши немного, я отвечал, что готов исполнить, если ее желание не будет противно моей совести, то есть моим понятиям и моим убеждениям. Анна Ивановна протянула мне руку и сказала: «Когда придет время, я потребую исполнения вашего обещания; противного же вашей совести тут ничего нет». И мы расстались друзьями.

Сбросив с плеч спор о мистических книгах, к которому я решительно приготавливался, как будто к ученому диспуту, я стал свободнее располагать своим временем, чаще бывал и дольше сидел у Балясникова, где каждый раз находил Алехина, а иногда встречал и других наших казанцев. Все мы были большие любители театра, и у нас сейчас начались чтения разных драматических пьес и даже разыгрывание их, разумеется без костюмов и декораций. Таким образом, в числе других разыграли мы трагедию Княжнина: «Вадим Новгородский». Она пользовалась большою славою не только потому, что была запрещена, но и потому, что заключала в себе, по общему мнению, много смелых, глубоких мыслей, резких истин и сильных стихов, – так думало тогда старшее поколение литераторов и любителей литературы. Надобно признаться, что и мы, молодые люди, были увлечены таким мнением, а в самом же деле вся эта трагедия – пустой набор громких фраз и натянутых чувств, часто не имеющих логического смысла.

Рана Балясникова находилась все в одном положении, нельзя было заметить, чтобы пу-

ля спускалась книзу. Между тем деньги вышли; Алехин доложил о том Аракчееву, и вновь были выданы триста рублей. Балясников жил так привольно, как никогда не жил. Прежде, живя одним жалованьем, он должен был во многом себе отказывать; теперь же, напротив, у него была спокойная, прекрасно меблированная квартира, отличный стол, потому что хозяйка и слышать не хотела, чтобы он посылал за кушаньем в трактир; он мог обедать или с нею, или в своих комнатах, пригласив к себе даже несколько человек гостей; он ездил в театр, до которого был страстный охотник, уже не в партер, часа за два до представления, в давку и тесноту, а в кресло; покупал разные книги, в особенности относящиеся к военным наукам, имел общество любимых и любящих его товарищей, — казалось, чего бы ему не доставало?.. Ему не доставало дела, ночных переходов, bivачных огней, холода и голода, порохового дыма, свиста пуль и грома пушек; ему не доставало опасностей боевой жизни. Туда рвалась его душа. Не имея возможности убедить докторов вынуть пулю из его ноги и не имея

терпенья дожидаться времени, когда она выйдет из костей, Балясников через два месяца воротился в армию. С тех пор я уже более не видал Балясникова. Он умер, как известно моим читателям, в двенадцатом году. Конечно, не все предсказания сбываются; но кого ни встречал я из знавших коротко Балясникова, и статские и военные, все единогласно говорили, что будь Балясников жив, он был бы фельдмаршалом. — В нескольких словах я доскажу его историю. Когда кончилась Шведская кампания, Балясников перешел из гвардии в армию, командиром конно-артиллерийской роты. В два года с половиной он довел ее до такого совершенства, что многие военные люди, охотники и мастера своего дела, приезжали полюбоваться ею. Перед началом турецкой войны Балясникову дали другую артиллерийскую батарею и перевели его, по собственному его желанию, в действующую армию. Тяжело было ему расставаться с ротой, и еще тяжелее было расставаться с ним его подчиненным. Не говорю уже о товарищах его, которые все смотрели на Балясникова как на будущего, славного полководца и го-

рячо его любили, – каждый рядовой артиллерист так был предан, так любил его, что прощанье ротного командира с ротою походило на расставанье самых близких и горячо любящих друг друга родных. Только что успел Балясников сдать роту, приехал какой-то генерал для произведения инспекторского смотра, который и был назначен на другой же день; когда роту вывели на плац, Балясников приехал уже как посторонний зритель. Будучи приятельски знаком с новым командиром, он вместе с ним внимательно осмотрел людей, лошадей, орудия и всю амуницию. Он сделал какое-то замечание старому фейерверкеру, который почти со слезами сказал ему: «Эх, ваше высокоблагородие! Покажите сами роту генералу. Прокомандуйте нами еще в последний раз!» Балясников с минуту подумал и отвечал: «Хорошо, старый товарищ». Он переговорил с новым командиром, который охотно на это согласился, и, когда приехал инспектирующий генерал, Балясников подъехал к нему вместе с новым командиром роты и сказал ему: «Генерал! Я командовал этой ротой два с половиною года и вчера только сдал

ее другому командиру. Я прошу позволения у вашего превосходительства, с согласия нового начальника, командовать бывшею моею ротой на инспекторском смотре. Рота привыкла ко мне, и не только люди, лошади знают мой голос!» Генерал отвечал, что он согласен, если новый командир роты этим не оскорбляется. Новый командир подтвердил, что он желает этого, что не хочет пользоваться славою за чужие труды и что только при прежнем командире рота может быть показана во всем ее блеске. Генерал согласился, и Балясников вылетел перед роту на своем бешеном коне, которого он сам выездил и на которого, кроме него, никто сесть не смел, скомандовал своим громозвучным голосом: «Смирно!» – и вся рота, люди и лошади вздрогнули и окаменели. Мне рассказывал достоверный самовидец, опытный артиллерист, что он всю свою жизнь не видывал, да и не увидит, того, что делали на этом смотре люди и лошади. В таком же духе, в самых похвальных выражениях, был отдан приказ инспектирующим генералом. Когда Балясников, кончив военное построение, подъехал к роте и ска-

зал: «Спасибо, ребята! Утешили вы меня, прощайте...» – то в ответ ему раздался не крик: «Рады стараться», – а всхлипывание и рыдание. Балясников сам не мог удержаться от слез и ускакал как сумасшедший. – Боже мой! Чего нельзя сделать с таким народом, который способен так любить и быть благодарным!

Балясников и в Турецкой армии заслужил себе такое же уважение в начальниках, дружбу в товарищах и любовь в подчиненных. Он отличался везде, где только был к тому случай. Война кончилась. Славный мир был торжеством воинского искусства князя Кутузова, будущего Смоленского. Известно, что наша Турецкая армия, под начальством Чичагова, встретила бегущего Наполеона с остатками его армии на берегах реки Березины. Балясников был убежден, что можно было не допустить переправы неприятеля, он приходил в отчаяние от распоряжений главнокомандующего, которые давали возможность спастись Наполеону. Когда же опасения его оправдались и Наполеон, переправясь через реку, ушел, Балясников, в исступлении от гнева, по

колени в грязи и в воде, целый день и даже вечер громил из своих орудий остатки великой армии. Он простудился и через несколько дней умер от горячки. Так рановременно погиб этот замечательный человек, память которого живет во всех переживших его товарищах.

Анна Ивановна была права: Лабзин мне не отдал визита, и я более к нему не поехал. По моим соображениям и по некоторым словам Анны Ивановны я догадывался, что старик Рубановский так много наговорил обо мне Лабзину дурного в смысле моей безнадежности для их братства, что великий брат и начальник охладел в своем желании сделать меня своим прозелитом. Тем не менее, однако, я получил от него приглашение, через Мартынова и Черевина, участвовать в спектакле, который они намеревались составить. Я, по моей смертной охоте играть на театре, согласился. Но как скоро узнала об этом Анна Ивановна, то поспешила напомнить мне мое обещание – исполнить ее просьбу: она просила меня отказаться от участия в спектакле у Лабзина. Меня очень удивило ее желание. Дав сло-

во, я должен был его держать; да правду сказать, это и не было для меня большим пожертвованием. Деспотизм всегда был для меня ненавистен, а попав в *притворные* актеры, я неминуемо был бы его свидетелем, если не над собой, то над другими. Отказ мой произвел, однакож, большой эффект, и Рубановский с Черевиным и Мартыновым изломали головы, отыскивая причину моего, как они называли, каприза. Они так и остались в неведении; но мое недоуменье, для чего Анна Ивановна потребовала от меня этой жертвы, как она сама говорила, скоро разрешилось: в пиесе, которую хотели играть, Черевин занимал роль любовника Катерины Петровны; Анна Ивановна боялась, чтобы театральная любовь не превратилась в настоящую, и, предполагая, что мой отказ от главной роли помешает представлению пиесы, заставила меня отказаться. Но увы, так хитро придуманное ею средство не имело успеха – мою роль отдали другому, и пиеса была сыграна, но я уже не был приглашен в спектакль *притворных* актеров. Надобно сказать, что все подозрения и опасения Анны Ивановны были

неосновательны: Черевин и не думал об Катерине Петровне, да, может быть, и Лабзин не думал женить его на своей воспитаннице. Впоследствии Черевин, поехав в Москву для свидания с родными, увидел там девушку, которая ему понравилась, и женился на ней.

Я продолжал постоянно посещать семейство Рубановских и каждое воскресенье обедал у них. Старик, потеряв надежду обратить меня на истинный путь, стал смотреть на меня снисходительнее, как на доброго молодого человека, сына старых друзей его, увлеченного вихрем мирской суеты. Моя горячая любовь к литературе, к театру, к изящным искусствам, как выражались тогда, была в его глазах такою же мирскою суетою, как балы, щегольство, карты и даже разгульная жизнь. Во время случившейся со мной довольно сильной болезни Рубановский несколько времени навещал меня ежедневно и с этих пор как-то стал со мною гораздо ласковее. Если в разговорах, как-нибудь нечаянно, речь доходила до мартинистских книг или до масонских лож и я высказывал мое нерасположение к ним, старик Рубановский обыкновенно

прекращал разговор такими словами: «Ну, да это не ваше дело, тут вы ничего не понимаете: это не при вас писано». Признаюсь, что это было мне всегда досадно слушать, и эта досада была причиною моего легкомысленного и дерзкого поступка, к чему в свойствах моего нрава не было никакого расположения. В Комиссии составления законов, где я служил переводчиком, был один чиновник, русский немец, по фамилии Вольф. Это был человек тихий и работающий, но постоянно задумчивый и больной. Директор Комиссии Розенкамф ему покровительствовал, и он имел маленькую квартирку в доме Комиссии. Вдруг узнаем мы, что Вольфа нашли мертвым в его квартире. Такая страшная новость, разумеется, всех заняла и встревожила. Из записки, найденной на столе умершего Вольфа, было очевидно, что он помешался и уморил себя голодом. Он исполнил это довольно затейливо: он не ел несколько дней сряду и, чувствуя, что начинает слабеть, рассчитал и отпустил своего наемного слугу, сказал своим соседям, что на три дня уезжает, запер снаружи свою комнату и, точно, ушел перед вечером; но в

ту же ночь воротился и заперся изнутри. Сто-
рож, ничего этого не знавший, сказывал по-
сле, что на другой день мнимого отъезда
Вольфа видел в окошко, как он беспрестанно
ходил по своей комнате, около стен, и в каж-
дом углу кланялся, как будто молился. Когда
по прошествии нескольких дней хватились
Вольфа и разломали дверь его квартиры, то
нашли труп несчастного самоубийцы, лежа-
щий посреди комнаты. Замечательно, что во
всех четырех углах, на столах и стульях на-
шли по несколько нетронутых белых хлебов.
Очевидно, что жалкий страдалец подвергал
себя ужасному испытанию голода и выдер-
жал его. Он был безродный сирота; все его
имущество, книги и бумаги были опечатаны,
но говорили, что Розенкампф, прежде опеча-
танья, взял себе его письменные сочинения. В
первое же воскресенье после этого печально-
го происшествия, обедая у Рубановских, я рас-
сказывал как ужасную новость все, что знал о
смерти Вольфа. Мне в голову не приходило,
чтоб он был мартинист или знаком с мартинистами; но старик Рубановский, выслушав
мой рассказ, с горестным увлечением сказал:

«Боже мой! Можно ли было этого ожидать! Иван Федорович Вольф был хотя лютеранин, но шел по истинному пути: он был человек добродетельный, кроткий и тихий; где мог он почерпнуть силы для совершения такого страшного, мученического подвига? Без сомнения, эти силы были дарованы ему свыше». Я с удивлением слушал дикие суждения моего хозяина. Старик с живостью обратился ко мне и убедительно стал меня просить, чтоб я достал у Розенкампа посмертные сочинения Вольфа, говоря, что это дело очень важное. Я отвечал, что это очень трудно сделать, что я не так близок к директору, чтоб мог заговорить с ним о таком щекотливом предмете и тем менее мог просить себе бумаг покойного Вольфа, взятых Розенкампом тайно и незаконным образом. Я прибавил, что даже сомневаюсь, правда ли это? Но старик Рубановский так убедительно стал просить меня, что я не мог отказаться и обещал употребить все старания достать бумаги. Правду сказать, я дал это обещание только для того, чтоб отвязаться от докучливых просьб Рубановского, в полной уверенности в

невозможности их исполнить.

На другой день, однако, я спросил одного из наших чиновников, бывшего моим товарищем в Казанской гимназии, А. С. Скуридина, которого Розенкампф очень любил: «Правда ли, что у нашего директора есть какие-то сочинения умершего Вольфа?» Скуридин сначала запирался, говорил, что ничего не знает, а потом под великим секретом открылся мне, что это правда, что он видел эти бумаги, писанные по-русски и самым неразборчивым почерком, что сам Розенкампф ни прочесть, ни понять их не может, что Скуридин кое-что переводил ему на немецкий язык, что это совершенная галиматья, но что Розенкампф очень дорожит бреднями сумасшедшего Вольфа и ни за что на свете никому не дает их. В следующее воскресенье я передал Рубановскому все, что знал о бумагах Вольфа, и всю безуспешность моих стараний, не называя, однако, по фамилии Скуридина. Против моего ожидания, мой рассказ не охолодил, а еще более воспламенил старого мартиниста. Он до того пристал ко мне, что не было другого средства отвязаться от него, как вновь обе-

щать похлопотать о сочинениях Вольфа. Несколько воскресений сряду Рубановский, час от часу с большею неотвязчивостью, приставал ко мне с одними и теми же просьбами. Это ужасно надоело мне. Ломая голову, как бы мне отбиться от доук старика, я напал на мысль: сочинить какой-нибудь вздор, разумеется в темных, мистических выражениях, и выдать этот вздор за сочинение Вольфа. К этому присоединилось желание испытать, как Рубановский будет находить смысл и объяснять то, в чем нет никакого смысла. Мне захотелось самому вполне, так сказать наглядно, убедиться в совершенном произволе и ложности его толкований, к которым прибегал он во время наших споров, при нашем общем чтении мистических книг, – и я решился на поступок, совершенно мне не свойственный. Смутно понимая, что это все-таки поступок нехороший, я никому не открылся в своем намерении. Я написал девять отрывков. Все они состояли из пустого набора слов и великолепных фраз без всякого смысла; но в то же время я постарался придать написанному мною некоторую внешнюю связь и мистическое

значение. Приемы же я заимствовал из сочинений Экартсгаузена, Штиллинга и самого Лабзина. Сначала я сказал Рубановскому, что есть надежда списать кое-что, и, наконец, принес так давно желанные им отрывки из мнимых сочинений Вольфа. Я приехал часа за два до обеда, мы заперлись с стариком в его кабинете, и я, не без внутреннего волнения и упреков совести, прочел ему листов шесть написанного мною вздора. Во время чтения я несколько раз останавливался, говоря: «Какая дичь, какая бессмыслица, какая галиматья!» Но старик с сожалением улыбался, повторяя любимые свои выражения, что «это не при вас и не для вас писано». – Я попросил его растолковать мне – и он толковал целый час. Мне стало так совестно, что я едва не признался ему в обмане. Наконец, кончилась эта тяжелая для меня пытка: нас позвали обедать. Я предложил Рубановскому, чтоб он оставил мой список с мнимых бумаг Вольфа у себя, говоря, что он мне не нужен. Но старик на это не согласился и попросил только позволения снять собственноручно копию. За обедом хозяин был очень весел, а я, напротив,

смущен, как будто сделал дурное дело. Анна Ивановна очень это заметила, и после обеда я выдержал строгий допрос: она хотела знать, что происходило в кабинете между мной и ее супругом. Я отвечал, что мы читали одно мистическое сочинение, которое Василий Васильевич старался мне растолковать, а я, к досаде моей, ничего не понял. Мне показалось, что хозяйка как-то недоверчиво и лукаво на меня посмотрела, и я подумал, что уж не знает ли она как-нибудь настоящей сущности дела, хотя муж ничего ей не хотел говорить и мне запретил.

Через неделю Рубановский возвратил мне мою рукопись, которую я при первой возможности бросил в пылающий камин. Он сказал, что она была читана людьми, понимающими это дело, которые ее достойно оценили. Я покраснел до ушей: я хорошо знал, кто это – эти достойные люди; мне стало совестно дурачить целое общество, члены которого, при всем своем одностороннем ослеплении или увлечении, были люди умные, образованные и почтенные. Я не мог по-прежнему спокойно смотреть в глаза Черевину и Мартынову, ко-

торые в тот день обедали вместе со мною; мне казалось, что они все знают и что некоторые их слова были намеком на мой бессовестный поступок; я был так смущен, так странен, что они необходимо должны были спросить меня, что со мною сделалось, здоров ли я? А такие естественные вопросы казались мне неопровержимым доказательством, что старик Рубановский сказал, от кого получил список с мнимого сочинения Вольфа, и что они отгадали, кто настоящий сочинитель: одним словом, я был мученик, – я был достойно наказан за мою дерзость. В самом же деле все мои опасения и все мои подозрения были совершенно несправедливы: старик Рубановский хранил строжайшую тайну, и никто ни в чем не подозревал меня. Насилу дождался я времени, когда можно было, не нарушая принятого порядка, уйти от Рубановских. На улице я вздохнул свободнее, но долго не мог совершенно успокоиться. Я дал себе честное слово никогда ничего подобного не делать и, конечно, сдержал его.

В следующее воскресенье я по какой-то законной причине не поехал обедать к Руба-

новским. Я заехал к ним в субботу поутру, чтобы сказать заранее, что завтра не буду. Я знал, что старика нет дома и что он до самого обеда сидит в своей конторе. Мне хотелось удостовериться, не слыхала ли чего-нибудь Анна Ивановна? Не знает ли она, что происходило в тот вечер у Лабзина, когда читали мою несчастную пародию? Я и прежде с удивлением замечал, что Анна Ивановна знала все, что делалось в доме у Лабзина и у Червина. Какие она имела для этого средства, я не знаю, только и в этот раз она знала все, кроме имен сочинителя и того человека, который доставил Василию Васильевичу это драгоценное сочинение. Анна Ивановна знала, что Василий Васильевич сам читал его вслух, в присутствии многих членов, и что все очень его хвалили и даже положено было напечатать его в «Сионском вестнике», если он опять будет позволен. Анна Ивановна знала даже и то, что между Лабзиным и Н. Н. Новосильцевым[19] шла секретная переписка об этом журнале и что эту переписку читает государь. Довольный полученными мною сведениями, я поспешил уйти, покуда не воро-

тился Василий Васильевич. Мне надобно было еще несколько времени не встречаться с ним, чтобы взглянуть на него с меньшим смущением.

Пришло опять воскресенье. Я нашел у Рубановских Черевина и обоих Мартыновых. Мартынов военный, то есть Павел Петрович, никогда еще при мне не обедал у Рубановских, и я очень удивился и обрадовался ему, потому что в его присутствии легче было не допускать разговора до предметов отвлеченных. Все обстояло благополучно. Я убедился, что никто не смотрел на меня особенным образом, что никто не думал о посмертном сочинении Вольфа и что никто не подозревал моего участия в этом деле. Я совершенно успокоился и был необыкновенно весел. Анна Ивановна заметила это и сказала мне, что она всегда бы желала видеть меня в таком расположении духа. Вовсе неожиданно для всех, по крайней мере так говорила «братья», приехал после обеда Лабзин. Он был так же умен, любезен и разговорчив, как и в первый раз, когда я познакомился с ним у Рубановских, но со мной он обошелся, как с челове-

ком вовсе ему незнакомым. Все обратили на это внимание и с любопытством смотрели на меня. Вероятно, все думали, что такая перемена неприятно озадачит и смутит меня; но я внутренне так был ею доволен, что сделался еще веселее и болтливее. Когда гости разъехались, Анна Ивановна дала мне секретную аудиенцию и, глядя на меня с улыбкою, сказала: «Каков актер наш игумен? – так называла она иногда Лабзина. – Ухаживал, ухаживал за вами, да вдруг и перевернулся, как будто знать не знает вас, как будто никогда не видывал! Ну, да и вы хороши! Умели скрыть свою досаду и даже виду не показали». Я постарался уверить Анну Ивановну, что я не досадовал, а радовался такой перемене. Анна Ивановна была очень довольна, что не допустила меня попасть в западню и сделаться лакеем Лабзина, какими, по ее мнению, были ее муж, Черевин, Мартынов и множество других. Я благодарил ее, оставляя в приятном заблуждении, что ей одной обязан своим спасением.

Успокоенный в моих опасениях, уверенный, что моя насмешка над мартинистами не

может открыться, я решился доверить мою тайну одному из моих друзей, человеку уже пожилому и необыкновенно скромному. Тайна тяготила меня, и, по природной моей откровенности, мне необходимо было кому-нибудь ее доверить. И. И. Р-га называли могилою секретов, и ему-то я открылся во всем. Я думал, он посмеется; но, к удивлению моему, он пришел в ужас. «Не сказывал ли ты кому-нибудь об этом?» – спросил он меня. Я отвечал, что никому не сказывал. «Ну, так и не сказывай. Сохрани тебя бог, если ты проболтаешься! Я сам в молодости моей был масоном. Мартинисты – те же масоны. Если они узнают твой обман – ты пропал. Даже мы с тобой никогда уже говорить об этом не будем». Признаюсь, я был порядочно испуган и, точно, долго об этом никому не рассказывал, кроме задушевного друга моего, А. И. Казначеева; мы оба молчали до тех пор, пока время сделало открытие моей тайны уже безопасным.

Скоро я уехал в Оренбургскую губернию, и, воротясь через год, нашел почти всех уже в другом положении.

1858 год, Декабрь, Москва

Примечания

Рубановский. – Имеется в виду Василий Васильевич Романовский (1757–1827), который упоминается в воспоминаниях о Шушерине (см. ниже в наст. томе), член масонской ложи Лабзина «Умиравший сфинкс». *Лабзин* Александр Федорович (1766–1825) – видный масон-мартинист, автор многих сочинений мистического характера; издавал в 1806 и 1817–1818 гг. религиозный журнал «Сионский вестник», в 1800 г. основал масонскую ложу «Умиравший сфинкс».

[^^^]

2

Черевин Александр Григорьевич (ум. в 1818 г.) – масон, последователь А. Ф. Лабзина.

[^^^]

3

Мартынов Александр Петрович (род. в 1782 г.) – масон, входил в масонскую ложу Лабзина «Умиравший сфинкс».

[^^^]

Мартынов Павел Петрович (ум. в 1838 г.) – полковник, земляк и приятель С. Т. Аксакова.

[^^^]

5

Подпись У. М. означала не «Ученик Масонства», а «Ученик Мудрости».

[^^^]

6

Известная комедия Бомарше «Женитьба Фигаро» была переведена Лабзиным и напечатана с большим предисловием от переводчика, подписанным буквами: У. М. Переводчик горячо защищает в нем против замечаний какого-то рецензента и превозносит похвалами игру двух московских актрис, сестер Синявских.

[^^^]

«Путешествие молодого Костиса от Востока к Полудню» – сочинение немецкого писателя-мистика Карла Эккартсгаузена (1752–1803), перев. А. Ф. Лабзина (СПб. 1801).

[^^^]

«Приключения по смерти» – сочинение немецкого писателя-мистика Юнга-Штиллинга (1740–1817), в 3-х частях, на русском языке вышла в переводе У. М. (т. е. Лабзина) (СПб. 1805).

[^^^]

Сабанеев Иван Васильевич (1770–1829) – генерал, участник походов Суворова и Отечественной войны 1812 г.

[^^^]

Генерал Сабанеев командовал тогда, после Барклая де Толли, 2-м егерским полком. Он блистательно отличился в эту кампанию.

[^^^]

Это обстоятельство рассказано мною подробнее в моих «Воспоминаниях» во «Втором периоде гимназии».

[^^^]

Капцевич Петр Михайлович (1772–1840) – генерал, впоследствии генерал-губернатор Западной Сибири.

[^^^]

Розенкампф Густав Андреевич (1764–1832) – юрист и государственный деятель, автор ряда исследований по теории и истории права.

[^^^]

Штофреген Конрад Конрадович (1767–1841) –
доктор медицины, лейб-медик Александра I.

[^^^]

Ильин Николай Иванович (1777–1823) – драматург; его драма «Лиза, или Торжество благодарности» впервые представлена на петербургской сцене в 1802 г., вышла из печати в 1803 г.

[^^^]

Эта пьеса, появившаяся на сцене в 1802 году, имела блистательный успех, хотя была составлена очень неискусно, не говоря уже о том, что действительная жизнь совершенно искажена в ней, весь ее успех зависел от множества сентенций, в которых были высказаны мысли, тогда еще новые и как будто либеральные. В 1808 году нередко давали эту драму, и она очень хорошо принималась публикой. Надобно заметить, что она была необыкновенно удачно разыграна.

[^^^]

«Ярб». – Имеется в виду трагедия Я. Княжнина «Дидона», героем которой является Ярб.

[^^^]

Жена Лабзина – Анна Евдокимовна Лабзина (1758–1828), автор «Воспоминаний» (СПб. 1914).

[^^^]

Новосильцев Николай Николаевич
(1761–1836) – царский сановник, крайний ре-
акционер.

[^^^]